

ПЕСНЯ О ВЕЧНОМ ТЕРПЕНИИ

Н. А. НЕКРАСОВ (1821—1877)

ОН УМИРАЛ от болезни нашего века. Раньше в то время оперировали несчастного, но Бильрот, венский врач — европейская знаменитость, все же рискнул. В стиле Петербурга была весна, у постели денно и ночью сидела Зина, кто-то приходил, старался говорить бодро, уходил и приходил снова — предстояло пережить лето, осень и немного зимы...

Некрасов от лекарства отказывался. Оно отупляло, а ему нужен был светлый мозг, способный еще работать, то есть, слышать страдания тела и боль души — стихи рождались теперь из этого.

Все казалось, что главного не сказал. Главное ускользало, надо было его удержать — надо было покаяться, в покаянии было главное, но тогда выходила несправедливость. Разве он виноват? И в чем?

...Барин. Согласился, б на путь отца — жил в имении, и, скорее всего, неплохо — гусиные щи хлебал, лелеял борзых, жену бы держал смирную, денег, может быть, не считал. Денег, впрочем, говорят, не считал, хоть с отцом порвал рано и окончил

чательно. Игрок был. Ставил крупно, крупно выигрывал. Говорили, везуч! А может, расчетлив, хитер и чрезмерно трезв...

Звали хитрым. Подсчитывали ошибки. Приписывали ему лицемерие. Состоятельный поэт плакал о бедных, вызывал законное недоверие.

Двусмысленность положения смущала и его самого. Была бы душа глухая — не слышал б людской молвы, несправедливой — уж мы-то знаем: беспристрастно к великим одно лишь время.

Пока неизвестен и молодой был, молчал Петербург о нем. Город, талантами избалованный, дилетанта с тетрадкой детских стихов не принял. Терпение! Коли вылетел из гнезда, запасись, птенец, терпением.

КОГДА СТАНЕТ МАСТИ-ТЫМ, Некрасов вспомнит полшутя, как по несколько дней не ел, как, усмиряя гордость, шел в харчевню на Морской, где давали бесплатную хлеб. Вспомнит, к слову, за чаем («Вам со сливками или с ромом?» — спросит милая Панаева), что ночевал

на улице, потому что нечем было платить за койку, что до обмороков работал, что к двадцати четырем годам уже был надломлен.

Не красив. Не любил женщин. Женщины слухом любят — он не блестяще владеет речью. Голос сипл и неприятен (перенес болезнь горла). Когда Добролюбова хоронили, взялся сказать над гробом. «Весьма невнятно, сквозь слезы, почти шепотом говорил о причинах смерти... и о том, что рано, что занимался делом, а не голословил, советовал следовать примеру. Речи никто, наверное, не услышал», — из доноса.

Власти подозревали в нем своемыслие — товарищи обвинили в предательстве. Товарищи прямо шли — он этих людей любил... Не потому ли им выпало идти прямо, что он петлял?

Лучший журнал его времени, а может быть, всех времен, журнал, по выражению Панаева, незапятнанный, «Современник», давал слово, славу и средства к существованию людям в убеждениях непре-

клонным, однозначным в поступках, любимым периферией России и нами, нынешними. Чтобы спасти журнал, слово, славу и средства к существованию людям, в убеждениях непреклонным, он восславил однажды страшного человека — Муравьева-Вилenskого (в народе «Вешатель»). Ода в двенадцать строк была уничтожена Некрасовым в тот же вечер. Строки стерты, никто не смог восстановить их, но дотошная до правды история хранит факт.

4 апреля 1866 года в четвертом часу дня царь Александр II гулял по Летнему саду со своей любимой собакой. В тот момент, когда он заносил ногу на ступеньку кареты, из толпы зевак выступили.

Выстрел Каракозова оказался, увы, напрасным. Петербург на него ответил «Боже, царя храни» да повальным страхом. 16 апреля Муравьев пил кофе в галерее Английского клуба. Обед в его честь подходил к концу, когда подошел Некрасов и попросил разрешение прочесть оду...

Новость быстрее ветра облетела город. Врагов побудились, друзей — тоже.

«Мне говорят, твой чудный голос ложь, прельщаешь ты притворною слезою», — написал Некрасову неизвестный. На обороте листа Некрасов отвечает, скорей, самому себе: «Чего же вы хотели от меня? Я слабый человек, сын времени, скупого на героя, я сам себя героем не считаю...»

«Это был хороший человек с некоторыми слабостями, очень обыкновенный», — Н. Г. Чернышевский, воспоминания.

«Он человек, сколько мне кажется, — хороший, хотя по временам его обращение может напротив оттолкнуть от него, Оболочка — груба — согласен; но может ли быть иная у человека, прошедшего через такие мучительства... Он часто хандрит, охает, кричит... уходит в себя, жесток; но под всем этим — нет-нет да и скажется человек сильно чувствующий, не лишенный теплоты, и очень умный», — А. Н. Плещеев, из письма к Достоевскому.

НЕСПРАВЕДЛИВЫ ВЕЛИКИХ СТРАСТИ, Лев

Толстой весьма неслестно отзывался о Чернышевском. «Смрадной букашкой» крестит Белинского Достоевский, а самого Некрасова чуть помягче — «либералом в мундире». И при этом не забывает, как в четыре утра вбежали к нему Некрасов и Григорович, бросились обнимать в совершеннейшем восторге и чуть не плача — только что прочитали «Бедных людей».

Бедные люди! Стоит ли любить их так сильно и совсем не любить себя?

«Еду ли ночью по улице темной, Бури заслушаюсь в пасмурный день — Друг беззащитный, больной и бездомный, Вдруг предо мной промелькнет твоя тень...»

— Любезный друг! — воскликнул Василий Петрович Боткин, тонкий ценитель музыки, живописи, иностранной литературы. — Твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной формы. Сильно напирал, и это коробит людей с художественным развитием, режет им ухо.

— Надеюсь, Некрасов, — сказал Тургенев, знаменитый и импозантный, красивый, богатый и, конечно,

талантливый, — ты поймешь, что для твоей же пользы мы высказываем наше искреннее мнение.

Пили чай у Панаевых. Авдотья Яковлевна присутствовала, но в разговор не вступала, делая вид, что занята своим

— Вчера мы с Боткиным, — продолжал Тургенев, — ужинали у одной женщины с тонким поэтическим чутьем... Пауза.

«Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел «Еду ли ночью по улице темной». Она слушала с большим волнением, и, когда я закончил, знаешь ли, что она воскликнула? Пауза.

— Это не поэзия! Это не поэзия!

«Еду ли ночью по улице темной, бури заслушаюсь в пасмурный день — друг беззащитный, больной и бездомный, вдруг предо мной промелькнет твоя тень...»

ОБРАЗОВАНИЕ У НЕКРАСОВА, стыдно сказать, домашнее. Да такое, что дважды пытался поступить в Петербургский университет — все напрасно. Походил в вольнослушателях и на том успокоился. Иностранных языков, можно сказать, не знал, эрудитом не слыл, за границей не был.

Что ж, ему, состоятельному поэту, не жилось

преспокойно и преугодно? Поэтический дар направить можно и на любовь, рифмовать «морозы» и «розы» куда приятнее — уж по крайней мере надежно. Не пришлось бы и унижаться, жалким выглядеть, жертвовать понапрасну честным именем. Ничего ведь не изменил! Россия как была крепостной, так по сути крепостной и осталась: волю мужику дали мнимую. «Современник» закрыли — ластивая ода лишь страдания усугубила. Уходили единомышленники — кто на каторгу, кто в Сибирь, а кто во сырую землю. Нет уж милой компании у Панаевых — безнадежно, холодно, одиноко.

Когда-то, давным-давно, когда многих любил и его любили, писал Тургеневу: «Жить для себя не всякий день хочется — и тогда приходит вопрос: зачем же жить? Поживем для того, чтоб хоть когда-нибудь кому-нибудь было полегче жить».

...Когда-нибудь и кому-нибудь — это нам?

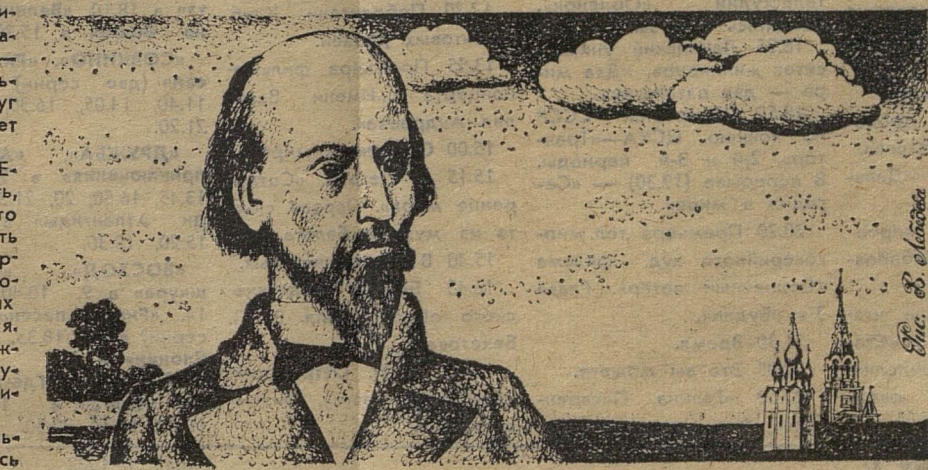
ЗА ОКОШКОМ морозный день. Белое солнце на белом небе. Серые тропы, серые крыши, коралловые деревья... Как жить, что и кого любить, что и кого не любить, терпеть ли, плакать или — завидный жребий! — путь свой пройти легко, не сомневаясь, не унижаясь, глупые жертвы не принося, — мы выбираем сами. Человек может быть счастлив малым — может

нести несчастье целого мира в маленьком, с кулачок, сердцем.

Никто никого, впрочем, не упрекает.

Но чувство вины откуда? ...Те, что Некрасова провозжали в последний путь, кто у постели до последнего был — жена и сестра и врач — вспоминают: «едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить покаяние...» Прочтите его «Последние песни», и вы увидите: он защищает себя, он уговаривает самого себя, что ненапрасно прожил. Но как робко, как ненадежно его защита от самого себя... Участь великой совести.

Н. ФОКИНА.



Н. А. Некрасов